

Людмила Дарьялова

(Калининград)

**ПРИТЧА О БЛУДНОМ СЫНЕ
В ОБРАЗНО-КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ
РОМАНА Л. ЛЕОНОВА «ПИРАМИДА»**

Предлагается новая интерпретация романа Л. Леонова «Пирамида». Обосновывается мысль о том, что Леонов в идеологии, развиваемой в романе, близок Достоевскому: центральная религиозно-философская позиция романа – утверждение онтологической двойственности бытия, где добро и зло, Бог и дьявол активно противостоят друг другу.

Ключевые слова: Леонид Леонов, роман, нарратор, идейное содержание, нравственность, христианство, религиозные ценности.



Слово «блуд», которым именуется грех плотской нечистоты... в славянском языке означает «заблуждение», отсюда «блудить», то есть плутовать, заблуждаться. «Блуд» и «заблуждение» – это слова одного корня.

Слово Святейшего Патриарха Кирилла

Более десяти лет минуло со дня выхода в свет последнего романа Л. Леонова, над которым он работал в течение сорока лет и который отразил в себе как силу авторского таланта, его проникновение в сопряженность временного и вечного, так и смя-



тение художника, ощутившего переходный характер времени. Все эти годы критика, отдавая должное художественному мастерству романиста, в то же время остро дискутировала на тему религиозно-философской концепции «Пирамиды». Одни исследователи отмечают православно-христианскую позицию автора (см.: [3; 8; 9]), другие видят в романе еретическое начало, отступление от христианской догматики (см.: [2; 10]), третьи выносят суровый приговор произведению и его автору, отказывая им в христианских убеждениях (см.: [1; 6; 7]).

По мнению А. Любомудрова, «пафос религиозных идей романа, наполненного эсхатологическими ожиданиями "другого" – антихриста, не еретический, а богоборческий» [5]. Автор статьи «Суд над Творцом: роман "Пирамида" в свете христианства» опирается на текстовые и внетекстовые доказательства и ссылки, в первую очередь – на размышления главного героя, священника о. Матвея Лоскутова. И статья кажется настолько убедительной, что после ее прочтения остается лишь закрыть книгу, текст которой «оказывает наркотическое воздействие на сознание и подсознание читателя, выполняет функцию гипноза, колдовства», как утверждает А. Любомудров вслед за Павловским [5]. Однако читательское восприятие всей атмосферы «Пирамиды», где вера, надежда, любовь противопоставлены натиску зла, лихолетью эпохи, козням человеконенавистнических сил, противится столь оглушительному обвинению романа и его автора. Противится, может быть, потому, что критик оценивает одни мысли, слова, высказывания (часто вне контекста), опуская другие и видя в лице о. Матвея идеолога, создателя «новой религиозной системы», а не живую личность, мыслящую, страдающую, болеющую душой и способную, в конце концов, понять свои заблуждения.

Задача статьи – на примере исследования лишь одной сюжетной ситуации (возвращение сына Вадима в родной дом) обозначить и оценить ведущие религиозно-нравственные позиции героев романа и в какой-то степени обелить прощальную книгу и ее автора.

Начнем с того, что «Пирамида» – роман-наваждение и роман-предупреждение. Первое определение вынесено автором на титульный лист, второе – является Завещательным словом, с которым Леонов обратился к своим почитателям. Оно становится основным итогом всей этой монументальной образной конструкции, отображающей грозные сейсмические колебания человеческой цивилизации в XX–XXI веках.

Один из героев романа советует автору быть разведчиком, соглядатаем будущего, чтобы предупредить сегодняшнее человечество: «судя



по почерку, именно у вас получился бы вразумительный, в патмосском жанре репортаж об ожидающих нас бедах, если своевременно не принять мер самозащиты» (175)². «Если не принять мер самозащиты!» — это ли не предупреждение, прозвучавшее в самом начале повествования?! Упоминание о Патмосском Откровении ап. Иоанна подчеркивает стремление Никанора убедить своего собеседника в возможности и близости вселенской катастрофы по вине самого человечества, которое может «разбиться о самого себя» (174).

В конце романа, после всех бед и потерь, в преддверии грядущей войны, утверждается надежда на спасение от многих заблуждений и обманов, но, увы, сомнения не покидают автора — героя и рассказчика: «Казалось бы, благодарение создателю, мучительно и долго томившее меня наваждение схлынуло наконец и сквозь напозавшие с запада тучи угадывалось чистое небо далеко впереди, но вместо ожидаемого облегчения овладевал мною непонятный, с примесью отчаяния, страх неизвестности, каким сопровождаются все эпохальные выздоровленья — от мечты, от прошлого, от самого себя в том числе» (684).

Атмосфера романа — диалоги и споры, где герои и сам автор поставлены перед выбором, где идет мучительная борьба со своими иллюзиями, обманами, чтобы снова обрести потерянную и вечную истину или хотя бы приблизиться к ней.

Возможность позитивного решения злободневных и одновременно вечных вопросов определяется тем мощным слоем библейских и евангелических текстов, преданий, апокрифов, которые образуют основополагающий конструкт произведения и вводятся в нарратив романа при помощи разнообразных приемов и форм: начиная от переключки отдельных эпизодов, как, например, взрыв собора — его разрушение ассоциируется с Голгофой, казнью Спасителя (281–291), и заканчивая множественными текстовыми включениями, цитатами, перифразами, упоминанием библейских пророков и святых отцов церкви, их высказываниями, а также образно-символическими сигналами и знаками, такими как «корабль», «гора», «бездна», «золотой век» и т. д.

Притча о блудном сыне (Лк. 15: 39), имея широкий культурный резонанс, и в «Пирамиде» Леонова занимает важное место в системе идейно-образных координат. Одна из главных линий романа — история «блудного сына» Вадима, бросившего вызов вере своих отцов и ставшего одним из воинствующих поборников идеи человекобожия.

² Здесь и далее цитаты приводятся по изданию [4]. В скобках указывается страница, на которой находится цитата.



Он уходит — убегает — из дома, чтобы «воевать с небесами», быть глашатаем, трибуном атеизма советской власти. Но очень скоро Вадим попадает в мясорубку террора. В третьей части «Пирамиды» («Запад-ня») повествуется о возвращении Вадима домой, чтобы проститься с родными накануне его ареста. Текст романа и соотносится, корреспондирует с текстом Евангелия, и, конечно, имеет свои отличия. Притча Христа заканчивается однозначным выводом: сын «был мертв и ожил, пропадал и нашелся» (Лк. 15: 39). В книге Леонова эта Истина духовного возрождения сопряжена с той мучительной паутиной заблуждений ума, лжи, тщеславия, которую пытаются разорвать герои романа, и это им удается не сразу или не всегда.

Основной смысл Христовой притчи следует соотнести не только с Вадимом, но и с его отцом — Матвеем. Он тоже впал в грех «умственного соблазна» и одно время, размышляя о причинах социального зла, обвинял самого Творца в несовершенстве созданной им конструкции человека, а значит, и в бедах мира. Эта и другие ереси о. Матвея, его отступничество от христианской догматики являются причиной последующих горьких событий в жизни семейства Лоскутовых, связанных с появлением Шатаницкого, «корифея неизвестных наук» и адепта Сатаны.

Теперь же, при встрече с сыном, будучи чуть ли не на смертном одре, о. Матвей тяжело переживает свой грех «любовознательства» (252), стыдится этого и раскаивается за свое согласие встретиться с Шатаницким, чтобы «взглянуть на истину с обратной стороны» (28). Боль и раскаяние о. Матвея выражены в исповедальном характере его общения с Вадимом, в том, что он сразу начинает разговор с благодарности Богу за его великую милость: «не почел за измену тяжкий грех любовознательства моего...» (252). И в своем напутствии сыну просит его смириться и обратиться к Богу:

Смирись, не задирай рога-то,пусти Его в себя! — напрямки сказал вдруг отец.

— Кого впустить? — вздрогнул сын.

— С кем борешься... — И втайне ужаснулся, что после того первомайского свидания т о ж е затрудняется назвать подразумеваемое лицо (268).

Трудно разделить мнение критика, что это чувство ужаса из-за отступничества есть одна из примет уподобления о. Матвея бесам³. Судя

³ Ср.: «...Матвей все больше уподобляется бесу: его начинает словно жечь лик в красном углу, ему становится трудно произносить имя Божие, заменяемое местоимением "он"» [7].



по атмосфере беседы, Матвеем стыдно и совестно поучать сына, когда сам не без греха, но его вера и долг отца требуют дать первенцу основной наказ: «при дворе... царя земного не отрекайся, без особой нужды, и от небесного... Он еще ой как вам, ребятки, понадобится!» (253). Потому и сам Матвей уповает на него: «Чуть что, а уж Господь спешит на выручку... в том смысле, что шепнешь себе на ушко: не падай духом, Матвей, он видит тебя!.. и полегчает» (252).

Конечно, оговорка Лоскутова «без особой нужды» не отречься от Бога, от веры не делает чести его священническому сану, но следует понять и психологическое состояние Матвея: наблюдая сквозь приоткрытые веки за сыном, догадываясь о его смятении, он боится чрезмерным напором смутить Вадима и обратить его в бегство, как в первый раз. Вот почему встреча «блудного сына» не только осложнена вводными эпизодами (разговором матери Прасковьи Андреевны с докторшей, воспоминаниями самого Вадима о доме, разговором с сестрой, радостью матери, встретившей своего сына), но и заключает в себе два композиционных блока, два плана изображения.

Сначала разговор с родными, с отцом идет о текущих событиях, арестах и доносах, и сразу же обнаруживается расхождение мнений и взглядов, представлений о правде и лжи.

Вадим идет к отцу в состоянии душевного непокоя, смертельного томления духа, ожидая властного окрика следящих за ним. Его убеждения уже дали трещину, но он скрывает свой внутренний разлад, свое смятение и постоянно лжет. Он лжет самому себе, что идет в Старо-Федосеево, желая «обновить в памяти живительные подробности детства» (241), лжет близким, уверяя сестру, что отпустил шофера, «решил пешком пройтись по родным местам» (246), лжет матери, стремясь сохранить вид успешного деятеля. Гордыня не позволяет Вадиму открыть свою душу, его беспокоит, что свидание с домашними, «чуть приоткроется его ущербное состояние, выльется в суматошный, слезливый спектакль о принятии его назад в семейное лоно...» (245). Так появляется в романе Леонова мотив «блудного сына», причем лексема «блудный» не раз будет возникать в тексте.

Во все время пребывания в семье Вадима не отпусало двойственное чувство: с одной стороны, он пытался оправдать власть, ее политику террора, с другой — ощущал, как вымученно-бледно выглядят его доказательства необходимости повальных арестов. По его словам, абсолютная истина недостижима в реальности, а поэтому революционное правосудие «обязано руководствоваться лишь вероятностью вины» (255). Но этот юридический пассаж совсем не вразумил просто-



душную Прасковью Андреевну, резонно заметившую: «Ужели вся Россия, Вадимушка, во враги подалась? (...) Глядишь, и мы со стариком купленные окажемся... Кем же, Вадимушка?» (254).

Вадим еще продолжает оспаривать в контексте другого евангелического слова, о Марфе и Марии (Лк. 10: 38–42), приоритет материальных условий существования, которые и приведут к духовному совершенству человека: «...переизбыток пищи телесной диалектически преобразуется в высший духовный продукт» (256–257). Но сам же и сомневается в реализации мечты о «золотом веке» коммунизма, тем более его смущает реплика отца: «Думаешь, прорветесь, успеете?» Эта идея изменения природы человека силами самого человека будет еще раз скомпрометирована в романе планом кремлевского вождя, задумавшего биосоциальную реконструкцию человеческого вида с помощью ангела Дымкова. Итог спору и расхождению во взглядах подвел повествователь, сказав «о полусогласии со стариками» и «нравственной капитуляции поскользнувшегося трибуна...» (255).

Второй план изображения встречи обусловлен той отеческой теплотой и любовью, а также той жаждой врачующего слова, с которых и начинается душевное выздоровление человека. Теперь уже беседовали о вечном, о жизни и смерти, о Боге и вере, о Богоприсутствии и Богооставленности. Давно замечено, что стиль Леонова обладает особой смысловой вертикалью: за первым планом повествования появляются порой даже незаметные для читателя второй и третий образно-мыслительные конструкты, которые образуют символическую глубину. Кажется, что может быть более естественным, чем непринужденные сотоваришества матери, Прасковьи Андреевны, на скоротечность человеческой жизни. Ей ли, супруге священника, провожающего в последний путь усопших, не знать, как быстро заполняются места за оградой погоста? Всё так, но ее народный ум и наблюдательность не лишены метафизических обобщений — она отмечает тщетность и суетность бытия: «Так вот и приключается с нами, милая моя... что всю-то жизнь гонимся за птицей — счастьяшком, оземь бьемся, ненасытные, горное камень приподымаем — запряталось ли, а про то невдомек, что она давно на плечике твоём посиживает, скучает — дожидается, когда ее в ладошках домой понесут» (247–248). Прасковья Андреевна не только понимает всю бессмысленность человеческих иллюзий, но и говорит о быстротечности самой этой погони за мнимым счастьем в свойственной ей наглядно-эмоциональной манере: «Иной-то фронт еще бравый с виду, усы нафабрены и щеки розовые, с чемоданчиком хлопочет, в путешествие собрался, а никому невдомек, куда ему билет взяден...



Глянь, уж самого его пакуют для отправки малой скоростью к месту предназначения...» (248). Цитируя, нельзя не сказать, как восхищают мастерство и словесное богатство Леонова, умеющего передать многообразные оттенки народной речи!

Развивая свои представления о жизни и смерти, Прасковья Андреевна обращает внимание на картину юного художника, подаренную безутешным отцом, а Вадим вспоминает философическое толкование морского пейзажа отцом Матвеем: как брызги морской волны, сверкнув на солнце, исчезают в пучине океана, «так, блеснув на солнышке разок, торопимся и мы воротиться в свою исподнюю пучину, скрываемся не исчезая» (249).

«Скрываемся не исчезая» — так емко и кратко формулирует о. Матвей бессмертие человеческой души, а стиль Леонова обнаруживает символическую выразительность. Это противопоставление света и тьмы обретает далее евангелический мотив движения человеческой души к Богу, ее возрождение.

На вопрос Вадима, как он, простой крестьянин, стал священником, о. Матвей вспомнил знаменательный случай из своего детства: мальчиком, собирая землянику, он увидел в лесу нечто страшное: «Ему была показана б е з д н а » (263).

Выделение разбивкой слова «бездна» подчеркивает его сакральный смысл: это не только смерть, не только место мучений бесов и грешников, но и Богооставленность человека, его «вечное, с мистическим оттенком, вертикальное падение» (263), как комментирует повествователь.

Страшное ощущение падения в бездну, когда нога ищет во тьме опоры, нужен свет, хотя бы фонарика... — повторяется в снах мальчика. «Смысл иносказания налицо, — утверждает нарратор, — путеводный светильник готовят заблаговременно по эту сторону жизни» (266). Лексема «светильник», графически выделенное определение «э т у» включают в интертекст главы евангелическую притчу Христа о девах и светильниках (Мф. 25: 1–12). Таким образом, проблема смысла человеческого бытия, как и проблема падения, отдаления от Бога, имеет у Леонова православно-христианскую трактовку — необходимость обретения во время земной жизни духовного света, обновления. Поэтому так нужен «светильник веры», чтобы не впала душа в грех, не оступилась, не запуталась в тенетах наваждения. Заканчивая свое путешествие сыну, о. Матвей четко излагает цель земного бытия: «Голые приходим в мир, голые и уходим без ничего, кроме того светильника, что зажигается нами при жизни» (267–268).



Забегая вперед, нарратор расскажет о трагической судьбе Вадима, его аресте. «Событие ареста... не поколебало Вадима в его новой материалистической вере» (275), поясняет автор, но поведение Вадима уже во время обыска говорит об обратном. Леонов как художник верен своей стилиевой манере, когда за первым смыслом может появиться второй, прямо противоположный или, наоборот, уточняющий. Писатель дает возможность читателю домыслить текст, понять намек или иронию и сделать свои выводы. Так и в эпизоде задержания следователь находит у Вадима в пальто зашитый образок священномученика Диоклетиановых времен. В ответ на укоризны учителя Вадим лишь «улыбался слегка в краске полусмущенного раздумья» (276). Ему живо представилось, как мать и сестра торопились зашить сокровище-оберег и какая любовь и теплота окружали его в том мире. И это воспоминание пробудившейся души и было, по словам автора, «первой победой над собой, без чего не дается легкая желанная смерть» (276). О дальнейшей судьбе Вадима сказано лишь одним словом — «ж и т и е». Выделяя его разбивкой, вводя дополнение «церковный термин» и памятуя об образе священномученика, автор дает читателю указательные вехи представить себе не только лагерные страдания Вадима, но и религиозное возрождение его души.

Возникший фантом, призрак Вадима в десятой главе третьей части, ничего общего не имеет с подлинным Вадимом, кроме внешней похожести и оценки системы уничтожения человеческой личности в лагерях. Это второе появление Вадима в отчем доме необходимо было автору, чтобы провести Матвея Лоскутова через новые испытания. Увидев перед собой сломленного полуживого человека, в глазах которого появлялся порой «злой, нелюдской какой-то огонек» (487) ненависти, о. Матвей все силы употребил на восстановление растоптанной души. Основная его цель — донести до Вадима христианские заповеди смирения и прощения. Прасковья Андреевна рассказывает случай из своей жизни, когда она за испорченный заказ была избита комиссаршей, а потом они, обе русские бабы, плакали обнявшись, простив друг другу обиды. А если не прощать, как пророчески обобщает о. Матвей правоту христианской морали, то на обиды народится благодетель, «он враз стон народный теоретично обмозгует, научно подкует... И вот тебе искорка пущена: начинается пожаришко». А затем, по мысли Матвея, полыхает пожар по всей стране (497). И мечтает он учредить единый день, «хоть за полвека разочек», «обязательный всемирно-п р о щ е н ы й день, то есть чистку памяти людской с отменой всех



долгов и огорчений, но пуще всего м ы с л е й , страшных мыслей наших...» (497). Конечно, Матвей Лоскутов имеет в виду не только общество, не только Вадима, но и свои греховные помыслы.

Когда призрак Вадима, уронив голову, спрятал лицо в ладони, близкие приняли этот жест за раскаяние, «все было прощено ему» (500). И снова в подтексте «Пирамиды» появляется Евангелическое слово, притча Христа о сеятеле (Лк. 8: 5–15). Леонов пишет: «...какие бы административные горечи ни караулили впереди споткнувшуюся душу, отныне взрыхленная страданием почва пригодна становилась к принятию доброго зерна» (500).

Отец Матвей снова просит сына смириться, не повторять его ошибку: «не бросайся опрометью в пылающую тайну во избежание смертельного ожога, подобно отцу твоему...» (500). Теперь его наказ звучит как народная мудрость: «С Богом не мудри, памятуя, что сказка должна быть страшная, сабля острая, дружба прочная, вера детская». Вера детская означает, что Бог принят всем сердцем, всей душой без всяких рассуждений и доказательств. Только тогда Он откроется тебе, и о. Матвей уже при первой встрече с сыном самую величайшую благодарность свою возносит за открытость Бога в его жизни, за Богоприсутствие: «И не за то возношу я ему благодарение свое, что от дуновений бури сохранил мне деток моих, или в стуже гонений без тепла и кровли не оставил нас... а за то, Вадимушка, что о т к р ы л мне себя, выше чего дара нет» (252).

Таким образом, прямые высказывания Матвея, его постоянное укорение себя за еретизм и вольномыслие, а также насыщенность текста и подтекста евангельским словом, притчами означают, что ситуация блудного сына (и отца, и Вадима) разрешается в духе Христовой Истины: «...был мертв и ожил, пропал и нашелся» (Лк: 15. 11–39). Поэтому нельзя назвать роман «Пирамида» богоборческим, тем более уподобить о. Матвея бесам и говорить о его духовной гибели. В то же время нельзя сбрасывать со счета и некоторые обвинения критиков «Пирамиды», но не столько в адрес о. Матвея, сколько в связи с концептуальными воззрениями самого автора. Верный своему дару трагического осмысления жизни, Леонов не отрицает деструктивную силу носителей зла и их влияние на судьбы людей. Вслед за Достоевским он утверждает двойственность мировосприятия – борение дьявола с Богом в сердцах людей и в истории человечества, но в отличие от Достоевского он придает злу, дьяволиаде в его романе сущностное значение, что противоположно христианской догматике. Отсюда «истина с



другой стороны» Шатаницкого, который, вмешавшись в жизнь Лоскутовых, придает притче о блудном сыне прямо противоположный, человеконенавистнический смысл: «был жив и стал мертв». Именно в таком состоянии духовного омертвления возвращается о. Матвей домой после ареста Скуднова. Последняя надежда спасти сына рухнула, Матвей в отчаянии, нет сил даже молиться, и он вместе с женой лежит в постели без сна, «плашмя и скорбными глазами уставясь в небо сквозь потолок, наподобие коронованных супругов в спальнях средневековья» (521). Сравнение постели с могилой усилено анафорическим приемом в последующих словах о. Матвея, словах библейского плача: «И вот состоялось мое исполнение желаний... И вот приходил навестить меня любимый первенец... И не было мне радости» (521). Отец Матвей признает свое духовное поражение: «Я утратил смысл жизни, и солнце светит вполнакала» (521). А когда вся семья узнает, кто был в облике Вадима и кого они принимали за благодетеля, семейство Лоскутовых настигает своего рода душевный паралич: «Как бы молния просверкнула среди них, и потом все сидели без единого стенания с черными лицами и обугленными душами» (630). И сам о. Матвей дает слабину. Если раньше при встрече с Шатаницким он спорил с ним, именем Господа чуть не заставил его убежать, а потом раскаивался, что вступил с ним в контакт, то теперь же происходит своего рода нарушение художественной логики образа: о. Матвей оправдывает себя — обстоятельствами, тем, что все люди грешны и он тоже, тем, что любой на его месте не отказался бы от встречи двух сторон. Наваждение снова нахлынуло на о. Матвея, наваждение, уступка, но не предательство. Многие неоднозначно в романе, двойственен и финал. Сторает домик Лоскутовых, что это — очищение или разрушение? Вопросы, вопросы... А впереди могут быть новые испытания веры и героев, и автора. Но есть и надежда. Это Дуня с ее добротой и любовью, помогающая Дымкову освободиться от земного плена; и луч света, пробившийся в спальню-гробницу Матвея; и Дунина кошачья лапка, цветок бессмертия, цветок кротости и живучести; и солнце, проглянувшее сквозь тучи для рассказчика, — все это знаки и приметы света, любви, жизни, противостоящей смерти и тьме, какой бы сильной она ни была. Мотив света — главный для всего творчества Леонова — света неба и света души в их слиянии утверждается и в романе «Пирамида» как единственный путь борьбы с наваждением, с опасностью гибели человека и человечества. Таков предупреждающий голос писателя.



Список литературы

1. Варламов А. Наваждение Леонида Леонова // Журнал русской культуры. 1997. №4.
2. Дунаев М.М. Православие и русская литература. М., 2000. Ч. 6.
3. Дырдин А.А. В мире мыслей и мифа: роман Л. Леонова «Пирамида» и христианский символизм. Ульяновск, 2001.
4. Леонов Л. «Пирамида». Роман-наваждение в трех частях. М., 1994. Т. 1.
5. Любомудров А.М. Суд над Творцом (Роман «Пирамида» в свете христианства). URL: <http://www.leonid-leonov.ru/mem18.htm> (дата обращения: 15.12.2015).
6. Любомудров А.М. Суд над Творцом: «Пирамида» Л. Леонова в свете христианства // Рус. лит. 1999. №4.
7. Павловский А.И. Два эссе о романе Л. Леонова «Пирамида» // Рус. лит. 1998. №3.
8. Федоров В.С. «Пирамида» Л. Леонова в свете эстетико-нравственных идей Ф.М. Достоевского // Рус. лит. 2009. №4.
9. Федоров В.С. По мудрым заветам предков. Религиозно-философский феномен романа Л. Леонова «Пирамида» // Рус. лит. 2000. №4.
10. Якимова Л.П. Роман Леонида Леонова «Пирамида» и русский космизм // Век Леонида Леонова. Проблемы творчества. Воспоминания. М., 2001.

Lyudmila Daryalova

PARABLE OF THE PRODIGAL SON IN THE IMAGE-CONCEPTUAL FIELD OF LEONID LEONOV'S NOVEL "THE PYRAMID"

A new interpretation of the novel "The Pyramid" by L. Leonov is suggested. The article supports the idea that in his ideology developed in the novel, Leonov is close to Dostoevsky: the central religious and philosophical statement of the novel is the ontological duality of existence where good and evil, God and Devil actively oppose each other.

Key words: Leonid Leonov, a novel, the narrator, the ideological content, morality, Christianity, religious values.